

Article

Beskomproissnyi kompromiss Sergeia Dovlatova: Ot "Nashikh" k nenashim [Uncompromising compromise of Sergei Dovlatov: From "Ours" to non-ours]

Tabachnikova, Olga

Available at <http://clock.uclan.ac.uk/28579/>

Tabachnikova, Olga ORCID: 0000-0003-2622-6713 (2019) Beskomproissnyi kompromiss Sergeia Dovlatova: Ot "Nashikh" k nenashim [Uncompromising compromise of Sergei Dovlatov: From "Ours" to non-ours]. Питання літературознавства / Pitannâ literaturoznavstva / Problems of Literary Criticism, 100 . pp. 89-113. ISSN 2306-2908

It is advisable to refer to the publisher's version if you intend to cite from the work.
10.31861/pytlit2019.100.089

For more information about UCLan's research in this area go to
<http://www.uclan.ac.uk/researchgroups/> and search for <name of research Group>.

For information about Research generally at UCLan please go to
<http://www.uclan.ac.uk/research/>

All outputs in CLoK are protected by Intellectual Property Rights law, including Copyright law. Copyright, IPR and Moral Rights for the works on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Terms and conditions for use of this material are defined in the [policies](#) page.

doi.org/10.31861/pytlit2019.100.089

УДК 821.161.1(73)Дов.09

БЕСКОМПРОМИСНЫЙ КОМПРОМИСС СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА – ОТ „НАШИХ” К НЕНАШИМ

Ольга Марковна Табачникова

orcid.org/0000-0003-2622-6713

tabachnikova@yahoo.com

Доктор философии, доцент, заведующая кафедрой

Кафедра русистики

Факультет языков и глобальных исследований

Университет Центрального Ланкашира

Ул. Аделфи, PR1 2HE, г. Престон, Англия

Аннотация. В статье предлагается рассмотреть Довлатова в более широком контексте – отталкиваясь от частного случая Довлатова-эмигранта, выйти к общей картине советского русскоязычного писателя в изгнании; нащупать закономерности, присущие мироощущению русского эмигранта-художника третьей волны.

Представляется важным взгляд на эмиграцию не просто как на лиминальную ситуацию, ситуацию перехода, а значит и пересечения всяческих границ – внешних и внутренних, но (во многом как следствие) прежде всего как на ситуацию травматическую. Это относится в первую очередь к изгнанию, то есть к вынужденной потере своей родной земли и среды обитания (ибо эмиграция добровольная, особенно в постсоветский период, это уже явление совершенно другого порядка, это скорее миграция, вопрос осознанного выбора, лишенный той трагедии невозвратности, той, по сути, смертельной составляющей, которая была присуща российским изгнанникам советского периода).

В данном случае речь идет об экзистенциальной лаборатории, испытывающей, прежде всего, человеческое достоинство, и о состоянии острого экзистенциального одиночества, которое эта

лаборатория многократно усиливает. Здесь можно говорить скорее о саморазрушении, а не о спасении. А о сочувствии – только на личном, на человеческом уровне, только к близким людям, но не к эмигрантской группе как таковой.

И если понимать компромисс как готовность быть пересаженным на чужую почву, как перенятие чужих тем, критериев и языка или просто игру на, казалось бы, родном языковом поле, но по чужим и, как выяснилось, подлым правилам, то в каком-то высшем духовном смысле, перешагнув от наших к ненашим, Довлатов оказался неспособным к компромиссу – как не был он по существу способен к нему и на Родине. И писал глубже и пронзительней всего на острие тоски – на ностальгическом материале, на материале прошлого.

Ключевые слова: Довлатов, Америка, эмиграция, третья волна, Россия – Запад, родина, изгнание, травма, литература, компромисс, рационализм – иррационализм.

Трудно писать о Довлатове – что в связи с эмиграцией, что вне всякой связи с географией, – ибо о нем сказано и написано столько, что добавить, кажется, уже нечего. Довлатов стал трендом. Некоторые из мэтров (его современников), а также и литераторов рангом пониже и возрастом помладше, снисходительно удивляются его посмертной славе, ревниво пытаются выровнять зарвавшийся рейтинг. Кем только ни называли его, куда только ни приписывали – журналист, репортер, рассказчик анекдотов; не писатель, а бытописец; середняк, посредственность с байками для обывателей. И это началось не вчера: „Слухи о моем интеллектуальном бессилии носят подозрительно упорный характер” (Довлатов 1993а: с. 56) – писал сам Довлатов. А благодарный читатель, между тем, продолжает восхищенно и радостно читать его и перечитывать. И признаваться ему в любви.

В рамках же этой короткой статьи мне хотелось бы поговорить о Довлатове в более широком контексте – если угодно, отталкиваясь от частного случая Довлатова-эмигранта, выйти к общей картине советского русскоязычного писателя в изгнании; нащупать закономерности, присущие мироощущению русского эмигранта-художника позднесоветского (а впоследствии и перестроечного) периода.

И здесь, мне кажется, уместен взгляд на эмиграцию не просто как на лиминальную ситуацию, ситуацию перехода, а значит и пересечения всяческих границ – внешних и внутренних, но (во многом как следствие) прежде всего как на ситуацию травматическую. Это относится в первую очередь к изгнанию, то есть к вынужденной потере своей родной земли и среды обитания (ибо эмиграция добровольная, особенно в постсоветский период, это уже явление совершенно другого порядка, это скорее миграция, вопрос осознанного выбора, лишенный той трагедии невозвратности, той, по сути, смертельной составляющей, которая была присуща российским изгнанникам советского периода).

Чем же конкретно вызвана травма и чем (и для кого) она чревата? Как писал Томас Манн в ответ на официальные увещания вернуться в постгитлеровскую Германию:

Достаточно тяжким, достаточно ошеломляющим ударом была в тридцать третьем году утрата привычного уклада жизни, дома, страны, книг, памятных мест и имущества, сопровождавшаяся постыдной кампанией отлучений и отречений на родине. <...> Я не забываю, что потом вы извели кое-что похуже, чего я избежал; но это вам незнакомо: *удушие изгнания, оторванность от корней, нервное напряжение безродности*. Иногда я возмущался вашими преимуществами. Я видел в них отрицание солидарности (курсив наш. – О. Т.) (Манн 1945).

В этой связи, как справедливо отмечает Иван Посохин, обращаясь к книге “Exile Cultures, Misplaced Identities” (Allatson and McCormack 2008), среди многочисленных терминов, связанных с проблемами изгнанничества, перемещения и эмиграции, „в наибольшей степени представлены понятия с семантикой «лишения» <...> или «преодоления»” (Посохин 2013а: с. 122).

Всё это, с известными оговорками, приложимо и к довлатовскому случаю.

Предельно ясно, чего он лишился. И это обостряется его человеческой ранимостью, тонкокожестью, уязвимостью, неумением и нежеланием вписаться ни в какой предписанный косный контекст. Иными словами: его врожденным нон-конформизмом, неспособностью к адаптации. Но это черты сугубо

личные, субъективные. Однако они не случайны и идут рука об руку с объективными: с мироощущением писателя (или Художника в широком смысле) – „не я выбрал эту женственную, крикливую, мученическую, тяжкую профессию. Она сама меня выбрала. И теперь уже некуда деться” (Довлатов 1993а: с. 172). Это мироощущение, поэтическое по своей природе, сродни религиозному, и в случае литератора связано напрямую с языком. Лишиться языковой стихии, возможной и доступной в полной мере (полной грудью) только дома, только на Родине этого языка – это испытание, пожалуй, самое тяжелое.

Итак, утраты очевидны, и цена высока. Но ведь это цена за свободу! За высшую ценность, которая, казалось бы, цены не имеет! Но так ли это оказалось на самом деле? И что Довлатов-эмигрант приобрел по этой высокой цене? Перевесила ли эта чаша весов?

Александр Генис, например, считает, что несомненно перевесила. И дает решительную отповедь тем, кто не согласен:

Чтобы приспособить Довлатова к новому патриотическому климату, его вставляют в мартиролог писателей, умерших от любви к родине. Сергей действительно ушел непростительно рано, но нечестно в этой беде винить Америку, как это с азартом делают сегодня. Каждый день я читаю чушь о писателе, которого иногда изображают убогим и беспомощным эмигрантом. Кто-то написал, что он не умел водить машину (вранье, Сергей обожал свой автомобиль и обклеил бампер забавными плакатами). Другой уверяет, что Довлатов не знал английского (вранье, Сергей объяснялся с друзьями, соседями и редакторами, а жаловался потому, что уважал чужой язык не меньше родного). Третий пишет, что Довлатов умер, потому что у него не было медицинской страховки (вранье, в Америке сперва оказывают медицинскую помощь, а потом за нее берут – если могут – „большие деньги”). Не удивительно, что биографический фильм о Сергее собирались назвать „Американская трагедия Довлатова”. И это про страну, которую Сергей ценил и понимал чуть ли не лучше всех, кого я в ней встречал (Генис 2011).

И действительно, именно в Америке к Довлатову пришли успех, признание, моральное и даже материальное удовлетворение как награда за тяжелый писательский труд. Более того, он стал

одним из немногих, кого печатали в английских переводах, да еще и в престижнейших американских изданиях вроде „Нью-Йоркера”!

В одном из интервью в ответ на вопрос „Стоило ли писателю эмигрировать?” Довлатов ответил:

Стоило хотя бы потому, что для меня и для многих других оставаться в Союзе было небезопасно. Кроме того, меня и моих друзей не печатали, во всяком случае не печатали то, что было написано искренне и всерьез. Я уехал, чтобы стать писателем, и стал им, осуществив несложный выбор между тюрьмой и Нью-Йорком. Единственной целью моей эмиграции была творческая свобода. Никаких других идей у меня не было, у меня даже не было особых претензий к властям: был одет, обут, и до тех пор, пока в советских магазинах продаются макаронные изделия, я мог не думать о пропитании. Если бы меня печатали в России, я бы не уехал (Довлатов 1991).

Однако та среда, в которой Довлатов очутился, попав в Америку, прежде всего вызывает в памяти знаменитые строки Галича: „И вся жизнь их заграничная – лажа! Даже хуже, извините, чем наша!” (Галич). Словами самого Довлатова: „Бич эмиграции – приниженность, неполноценность и холуйство” (из письма Л. Штерн) (Довлатов 1999: с. 284–378). Как красочно описала его жизненную ситуацию Наталья Иванова, в рецензии на (запрещенную теперь) книгу частной переписки Довлатова с Игорем Ефимовым,

Довлатов был часто несправедлив и неосмотрителен. <...> В отличие от Ефимова, постоянно обижал людей, с которыми его связывали дружеские и деловые отношения. Почему? Потому что слишком быстро понял, что среда, в которой он оказался и вынужден будет находиться до конца дней, ему тесновата, что уровень литературы и эмигрантской прессы на Западе порою даже ниже, чем советский. Что, убежав, уехав от советской пошлости, он попал в ее же раствор – как бы не еще более крепкий. Эта среда вызывает у Довлатова вполне отчетливо тошнотворное отношение – и провоцирует то, что он сам обозначает в одном из поздних писем как „пониженную общительность” (Иванова 2001).

Далее Иванова выносит вердикт третьей волне русской эмиграции – во всяком случае, американского разлива:

Эпистолярный роман „Довлатов – Ефимов” сокрушителен по отношению к мифу об эмиграции и ее особо священной роли спасительницы русской культуры. Ничего дурного не смею сказать о первой волне – хотя, полагаю, кроме Бунина, Набокова, Ходасевича, Г. Адамовича, Г. Газданова и других достойнейших, в ней много чего было намешано. В нашем случае – гений Иосифа Бродского, талант Сергея Довлатова искупают многое. Но не все (Иванова 2001).

Бессмертный роман Василия Гроссмана „Жизнь и судьба”, как, впрочем, и фильм Михаила Ромма „Обыкновенный фашизм”, беспощадно обнажили и зафиксировали сходство коммунизма и фашизма. Однако позднее пришло время увидеть и различия. Как отмечает Дов Контонер,

для Запада, как для *системы*, коммунизм, по-своему развивавший импульс Нового Времени и эпохи Просвещения, представлялся и был *иносистемой*. В то же время фашизм и, в особенности, нацизм, провозглашавший фундаментальный отказ от проекта модерн через апелляцию к „примордиальной традиции” и атаковавший религию Откровения как смертоносный корень модернистского зла, составляли для Запада *антисистему* (Контонер 2005).

Это историческое отступление мне кажется уместным в нашем контексте своим переходом от наблюдения сходств к выявлению различий. В каком-то смысле аналогично – правда, с точностью до наоборот – происходило и восприятие водораздела „Советская Россия – Запад”. За железным занавесом миф заслонил собой реальность, создавая разительный контраст; потом же, когда реальность заняла причитающееся ей по праву место, выявились неожиданные сходства, которые в большой мере отрезвили русских мечтателей. Интересно, что нечто подобное наблюдалось и до эпохи исторического материализма. Как писал еще Лев Шестов в начале 20-го века про ложные представления русского человека о западной цивилизации,

мы поддались быстро и в короткое время огромными дозами проглотили то, что европейцы принимали в течение столетий, с постепенностью, приучающей ко всякого рода ядам, даже самым сильным. Благодаря этому, пересадка культуры в России оказалась совсем не невинным делом. Стоило русскому человеку хоть немного подышать воздухом Европы, и у него начинала кружиться голова. Он истолковывал по-своему, как и полагалось дикарю, все, что ему приходилось видеть и слышать об успехах западной культуры. Ему говорили о железных дорогах, земледельческих машинах, школах, самоуправлении, а в его фантазии рисовались чудеса: всеобщее счастье, безграничная свобода, рай, крылья и т. д. И чем несбыточней были его грезы, тем охотнее он принимал их за действительность. Как разочаровался западник Герцен в Европе, когда ему пришлось много лет подряд прожить за границей! (Шестов 1996: с. 29).

Сходным образом, и в условиях советского идеологического удушья и искажений информационного поля, представления о Западе – как о запретном плоде – обросли мифами. Советскому человеку, вожделенно глядящему в непроницаемую заграничную даль, мерещились те же чудеса. Американская литература заслонила собой жизнь. Хемингуэй стал кумиром советской интеллигенции 70-х. Как пишет Бродский,

Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо. Нигде идея эта не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая Фолкнером и Фростом. Кто хочет, может к этому добавить еще и американский кинематограф. <...> Идея индивидуализма, человека самого по себе, на отшибе и в чистом виде, была нашей собственной. Возможность физического ее осуществления была ничтожной, если не отсутствовала вообще. О перемещении в пространстве, тем более – в те пределы, откуда Мелвилл, Уитмен, Фолкнер и Фрост к нам явились, не было и речи. Когда же это оказалось осуществимым, для многих из нас осуществлять это было поздно: в физической реализации этой идеи мы больше не нуждались. Ибо идея индивидуализма к тому времени стала для нас действительно идеей – абстрактной, метафизической, если угодно, категорией. В этом смысле мы достигли в сознании и на бумаге куда большей

автономии, чем она осуществима во плоти где бы то ни было. В этом смысле мы оказались „американцами” в куда большей степени, чем большинство населения США; в лучшем случае, нам оставалось узнавать себя „в лицо” в принципах и институтах того общества, в котором волею судьбы мы оказались (Бродский 1993: с. 360–361).

Реальность же оказалась несколько иной, хотя оба – и Бродский, и Довлатов – мужественно отнеслись к воплощенной идее индивидуализма (читай – к экзистенциальному одиночеству на чужбине). Но проявилось удивительное: выяснилось, что обе системы по-своему бесчеловечны, по-своему душат человеческую личность. Действительно, Запад как иносистема выработал и иные ценности, и иную стилистику жизни, которая для советского интеллигента оказалась столь же удушающей в своей приземленной вульгарности, сколь удушающей была привычная ему тоталитарная идеология и ее практики. По большому счету – и в этом слышится эхо приведенных рассуждений Бродского – духовного полета и внутренней свободы на советской кухне на поверку оказалось больше, чем в пресловутом свободном мире. Об этом открытии лаконично сказал Искандер в первый свой визит на Запад: „Многое дает демократия человеку, но она, к сожалению, не дает человеку ума” (Искандер 2004). А Бродский, оказавшись в Вене, впервые вступив в „свободный мир”, почувствовал мелкотравчатость встретившей его системы ценностей, понял, что это движение в никуда, движение, которое никак тебя не развивает: „Какой бы выбор ты ни совершил, это в лучшем случае ударит тебя только по карману. Но психологически, субъективно, как персону, это тебя оставляет в том же самом состоянии, в котором ты был и до выбора” (Бродский 2013). Но при этом, как известно, настаивал, что „лучше быть последним неудачником в демократии, чем <...> властителем дум в деспотии” (Бродский 2000: с. 44). Отрицал ностальгию, но при этом наотрез отказывался приехать в Ленинград, иногда признаваясь, что на место преступления вернуться еще можно, а вот на место любви – никогда! Поразительно наивный Кушнер признавался потом, что и не подозревал о глубине внутренней неустроенности Бродского-эмигранта (Кушнер 1998: с. 154–206). Довлатов как человек более

горячий и импульсивный не то чтобы страдал больше, но как-то распахнутей. „Как все-таки ужасно, что у нас такая ненормальная родина, было бы у нас дома что-то вроде какой-нибудь засраной Италии, как бы мы замечательно жили!” (Довлатов и Ефимов 2001: с. 328), восклицает он в сердцах в частном письме.

Иными оказались и межличностные отношения. В официальном интервью Довлатов признается в отсутствии иллюзий на этот счет:

наиболее явные из моих заблуждений рассеялись. Я уже не жду от редакторов, издателей, литературных агентов и переводчиков интимной дружбы, ежедневных встреч, полночных душевных разговоров. Люди делают свое дело (я говорю об американцах) холодно и сдержанно, но зато добросовестно и пунктуально, без русских нежностей, но и без русского надувательства. Я понял, что не стану ни богатым, ни знаменитым в Америке и даже вряд ли заработаю чистой литературой себе на пропитание – все восемь лет в США мне приходится заниматься еще и журналистикой. Я понял, что никогда не буду писать об Америке, никогда не перейду на английский язык. У меня не осталось иллюзий, которые были на первых порах, а ведь многие из русских писателей до сих пор во власти иллюзий. Им кажется, что к ним, если не сегодня, то завтра, ворвутся издатели и агенты с бланками договоров в руках и будут выхватывать друг у друга рукописи этих писателей. Ничего подобного никогда не происходило и не произойдет. Из русских писателей добился несомненного успеха один Иосиф Бродский. Остальные, как правило, врут (Довлатов 1991).

При этом знаменитым он как раз стал, а вот счастливым – не похоже. Та Америка, куда он попал, обернулась затхлой русскоязычной диаспорой („Все без исключения русские в Нью-Йорке дрянь”) (Довлатов и Ефимов 2001: с. 255); в англоязычной же Америке ему, по всей видимости, было еще тоскливее, ибо „с русским издателем я хоть поругаюсь на знакомом мне языке...” (Довлатов 1991). Безусловно, его ностальгия была не по советскому государству – все довлатовские передачи по Голосу Америки, условно говоря, о том, что неискренние улыбки американцев милее сердцу, чем совковое хамство. В этом они с Бродским несли единую вахту. Но прав был и философ Георгий Федотов, написавший

о растительной природе русского человека – теряющего жизнеспособность, будучи выдернутым из родной почвы (Федотов 1938: с. 255). Поэтому и Галич так надрывно прощался, а в эмиграции и вовсе замолчал. А пересаженный на американскую почву Наум Коржавин вообще не прятался ни за какие ширмы идеализма, а писал о западной цивилизации с откровенной неприязнью: „Здесь вместо мыслей – пустяки. И тот, как этот. Здесь даже чувствовать стихи – есть точный метод!” (Бродский 1993: с. 145).

И тут возникает соблазн говорить о традиционном, еще Достоевским, если не ранее, предложенным водоразделе Россия – Запад как противостоянии иррациональности и рациональности, хотя Довлатов и понимал прекрасно, что это деление более чем условно, ибо мир абсурден и немецкоязычный владелец венской гостиницы оказывается для лирического героя ближе его родного дяди („Наши”) (Довлатов 1993b: с. 179); (или, как писал Веничка Ерофеев, „какие еще границы?! <...> по одну сторону <...> говорят на русском и больше пьют, а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском...”) (Ерофеев 1995: с. 100). Но если это противостояние рационального и иррационального применимо в случае с Коржавиным, ситуация Довлатова всё же иная.

Конечно, верно, что рыночная конъюнктура душит не менее идеологической (хотя по Довлатову, „она гораздо меньшее зло, чем идеология, хотя бы потому, что талантливое произведение оказаться рыночным может, а идеологически выдержанным – никогда. Талант и рынок иногда совпадают, а идеология и талант не совпадают никогда и ни при каких обстоятельствах”) (Довлатов 1991), а потребительское сознание фатально действует на творческую личность – ибо поэзии противопоказано жить в окружении пошлости. А ведь Довлатов (как и любимый им Чехов) – весь поэзия, весь антипошлость. Его улыбка сквозь слезы – из мира иррациональности. Его мироощущение – это антиуспех, антиАмерика, антинахрапистость. Но главная проблема все-таки не в этом. Ибо он явно стремился создать себе внутри Америки – при всем его благоговении перед ее идеальным образом, воплощенным в литературе и истории – некий оазис своей потерянной русскоязычной Родины, такую версию „Наших”. Ибо темы его (как

и язык его) оставались российскими темами, почерпнутыми напрямую из собственной биографии. Недаром многие исследователи довлатовского творчества, говоря о его прозе, созданной в эмиграции, обращались к его собственным словам о том, что небоскребы вокруг него – это миф, а то, что реально окружает его – это прошлое, которое и есть сам человек (Довлатов 1993b: с. 140). Так, по словам Яны Меерзон, „в Америке его прошлое постоянно обретает черты настоящего” (Meerzon 2015: с. 64).

Как сам Довлатов признавался в интервью, говоря о своих книгах, написанных в эмиграции: они

не об Америке. События в них происходят на американском континенте, но эти книги не об Америке: центральными персонажами в них остаются русские эмигранты. Русские писатели за границей вообще очень редко переходили на иностранную тематику. Бунин написал шедевр „Господин из Сан-Франциско”, но иностранец у него условный, все проблемы разрешаются на метафизическом уровне, нет живого лица, тем более, что герой – мертвец. Так что даже Бунин не решился изобразить (а, может, и не сумел изобразить) живой туземный характер. Даже у Набокова, заметьте, русские персонажи – живые, а иностранцы – условно-декоративные. Единственная живая иностранка у него – Лолита, но и она по характеру – типично русская барышня (Довлатов 1991).

Поэтому хотя Довлатов внешне и стремился показать, что – условно говоря – „выбирает пепси-колу” – американские ценности и образ жизни, и действительно до последнего держался за демократический американский пафос, но внутренне он, очевидно, тянулся назад, к другим – не то чтобы ценностям, но реалиям. Но не Америка разочаровала его, – ибо Довлатов общался скорее с интеллектуальной ее элитой, в остальном оставаясь укорененным в мире русскоязычных эмигрантов, – а удушье диаспоры, затхлое болото бывших соотечественников, оказавшееся похлеще советского.

Таким образом, его стратегия выживания в Америке – это попытки вписаться внешне при невозможности и нежелании

меняться и приспособливаться внутренне к тому, что оказалось на поверку всего лишь эрзацем свободы!

Сам же Довлатов говорил в „Зоне”, что аморальным является любое действие, в основе которого лежит защитная реакция (Довлатов 1993а: с. 42). Эмиграция как травма именно эту защитную реакцию и запускает, заставляя человека самому определять тот уровень компромисса, на который он согласен идти. Иначе говоря (и тут мы снова возвращаемся к скрытому сходству двух систем), по обе стороны границы (и в тоталитарном СССР, и в демократической Америке) существуют рычаги давления на личность, ограничивающие творческую и шире – внутреннюю свободу; соблазны, создающие условия экзистенциальной лаборатории, где на кону всегда – чувство собственного достоинства, и в качестве расплаты – компромисс.

Усилиями этого старикашки – писал Довлатов об Андрее Седых, пресловутом редакторе „Нового русского слова”, с которым конкурировала довлатовская газета „Новый американец” – большинство интеллигентов из Союза превращено в холуев, дрожащих за свои нищенские гонорары, изгибающихся перед его дефективными помощниками. Я знаю людей, сидевших по многу лет в лагерях и сохранивших достоинство, но надломившихся в приёмной у этого шакала (Довлатов – Владимовы 2001: с. 272).

И тем не менее шкала между рациональным и иррациональным всё же применима – если не к странам, то к типу личности. Чем более тонок, чем более иррационален индивид, тем более он беззащитен, раним, уязвим, и тем большей травмой будет для него эмиграция – пересадка в океан культурно и лингвистически чужой, а вернее – в случае диаспоры – на жалкий осколок суши, притворяющейся своей, среди этой чужой стихии. Не говоря уже о том, что – при попытках свободного плавания – даже сам факт перехода на другой язык уже является актом само-предательства, ибо ты иноговорящий – уже не искренен, уже мутант, уже не совсем ты, а приспособленец к другому (чужому!) миру. Твой же соотечественник, который видит это насквозь, ибо сам таков, поневоле становится тебе в тягость.

Довлатов пытался бороться с удушьем русскоязычной американской среды: бросился в творческое море, создал еженедельник („Новый американец”), но косности мира, в котором оказался, не поборол. На симпозиуме „Интеллектуальная жизнь в СССР” в университете штата Минесота в 1983 году он сделал доклад, где с горечью говорил и об этом поражении, и о своей личной ответственности за то, что его соотечественники не выдержали испытания свободой, что она была ложно понята, истолкована как безусловное благо, не обремененное чувством долга и необходимостью выбора.

„В юности мне довелось три года быть лагерным надзирателем”, говорит Довлатов, – „на моей памяти десятки побегов <...> и все они были ликвидированы по единственной причине: оказавшись на воле, заключенные буквально теряли рассудок, взламывали продовольственные ларьки, насиловали старух, душили гусей, воровали стиранные подштанники с заборов, и в результате все, как один, снова оказывались за колючей проволокой. Нечто подобное творится с нами, российскими эмигрантами. Мы выбрали свободу и пересекли океан, оказавшись в стране раскормленных буржуазных гусей и модных капиталистических подштанников” (Довлатов 1983: с. 15).

Итак, тоталитарный менталитет победил.

„С философской точки зрения всё понятно,” – продолжает он, – „Дома мы воевали с начальством и были сплоченными, как подпольщики. Нас спланивали общие тяготы, общая бедность, общая жажда духовного раскрепощения. Мы обменивались намеками, кодовыми сигналами и понимали друг друга с полуслова. Это было понимание конспираторов, зеков, рабов. А сейчас мы в Америке, начальство отсутствует, инерция же неутраченной битвы – жива, поэтому мы воюем друг с другом. <...> Вот и получается, что живя в Америке, в стране классической демократии, в атмосфере декларируемой свободы, мы, русские эмигранты, оказываемся за решеткой. За решеткой своей отвратительной нетерпимости” (Довлатов 1983: с. 17).

Эхо этого феномена объективируется в научных трудах простой констатацией факта о том, что „эмигранты Третьей волны перевезли

с собой за границу традицию ожесточенных полемик в газетах и журналах” (Посохин 2013b: с. 12). Довлатов же заключает свою речь провозглашением триады Свобода – Одиночество – Мастерство, признаваясь, что избавился от иллюзорного восприятия свободы как абсолютного блага, а одиночества как непереносимого зла. Однако со стороны поневоле думается: „А что же ему оставалось делать?”, и это одиночество, в какой бы цвет его ни рядить, выглядит горько и надрывно.

Таким образом, в связи с гипотезами о лиминальной ситуации и ритуале перехода, в данном случае (эмиграции советской художественной интеллигенции в Америку в позднесоветский период, особенно если речь идет о людях, по выражению Пушкина, „с душой и талантом”) я бы делала акцент на травматичности эмигрантского опыта, об экзистенциальной лаборатории, испытывающей прежде всего человеческое достоинство, и о состоянии острого экзистенциального одиночества, которое этот переход (эта лаборатория) многократно усиливает. Здесь можно говорить скорее о саморазрушении, а не о спасении. А о сочувствии – только на личном, на человеческом уровне, только к близким людям, но не к эмигрантской группе как таковой. Однако в том, что касается гражданской и профессиональной ответственности, говорить можно и нужно – ибо она действительно присутствует, но только постольку, поскольку сопоставима с масштабом травмы. Ибо степень неуспеха может быть такой, когда на место ответственности приходит бесконечная апатия.

С другой стороны, это как раз случилось с Довлатовым на Родине – однако же и успех, пришедший в эмиграции, положения не исправил:

Пьянство мое затихло, но приступы депрессии учащаются, именно депрессии, то есть беспричинной тоски, бессилия и отвращения к жизни. Лечиться не буду и в психиатрию я не верю. Просто я всю жизнь чего-то ждал: аттестата зрелости, потери девственности, женитьбы, ребенка, первой книжки, минимальных денег, а сейчас все произошло, ждать больше нечего, источников радости нет. Главная моя ошибка – в надежде, что, легализовавшись как писатель, я стану веселым и счастливым. Этого не случилось. Состояние бывает такое, что я даже пробовал разговаривать со

священником... но он, к моему удивлению, оказался как раз счастливым, веселым, но абсолютно неверующим человеком (Довлатов и Ефимов 2001: с. 305).

Эти довлатовские признания, мне кажется, как раз и отражают ту самую традицию русского иррационализма – и шукшинскую, и „высоцкую”, и „ерофеевскую”. И воспоминания Эрнста Неизвестного это только подтверждают:

Дело в том, что я с ним пил. Его пьянство, с точки зрения психиатрии, да для этого не нужно быть психиатром, любой пьющий мужик это знает, это была форма самоубийства. Именно так, как он пил. Не в смысле много, а психологически как. Он как бы втыкал нож в своё сердце и говорил: „На тебе, на тебе, на тебе”... Это было тёмное русское пьянство, которое здорово, здорово отражено в песнях Высоцкого: „Что за дом притих...”, „всё не так! Всё не так, ребята”. Поэтому какое-то стремление куда-то убежать, а куда бежать? в смерть, у него конечно было (Неизвестный 2007).

И если понимать компромисс как готовность быть пересаженным на чужую почву, как перенятие чужих тем, критериев и языка или просто игру на, казалось бы, родном языковом поле, но по чужим и, как выяснилось, подлым правилам, то в каком-то высшем духовном смысле, перешагнув от наших к ненашим, Довлатов оказался неспособным к компромиссу – как не был он по существу способен к нему и на Родине. И писал глубже и пронзительней всего на острие тоски – на ностальгическом материале, на материале прошлого (ведь именно в Америке появились и окончательная версия „Заповедника”, и „Наши”, и „Чемодан”, и „Филиал”, который формально говоря об американском настоящем, а по сути, самые сильные его страницы – о доме, о юности, о первой любви).

С другой же стороны, по следам Цветаевой, можно говорить и о том, что поэт (художник в более широком смысле) – всегда и везде эмигрант. А Родина, говоря словами поэтессы, „не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию – может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, – тот потеряет ее лишь вместе

с жизнью”; да и „писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать (дышать)” (Цветаева 1997: с. 104).

И однако, когда Вероника Долина написала „Не пускайте поэта в Париж...” (Долина 1980), она была в самом простом смысле права. Не зря эмиграцию называют то школой смирения, то самодостаточности (читай – внутреннего одиночества, в которое эмигрант вынужден ретироваться, как улитка в свою ракушку). Можно называть её монастырем собственного духа, как делал Довлатов, но сути это не меняет.

И хотя с одной стороны ясно, что человек рождается и умирает один, а жизнь трагична по определению (и даже в жизнерадостном освещении предстает „сказкой о несчастных лесных жителях”, где про каждого персонажа можно с равным основанием сказать словами Высоцкого „он по-своему несчастный был дурак” – так Довлатов признавался за несколько лет до смерти: „Последние лет десять я пишу на одну-единственную тему, для русской литературы традиционную и никогда никем не отменявшуюся – о лишнем человеке. При том, что, по моему глубокому убеждению, все люди – более или менее лишние, а все проблемы в принципе неразрешимые” (Довлатов – Владимовы 2001)), но, с другой стороны, в нашей трагической жизни случаются смягчающие обстоятельства – такие как Родина с её родным языком (с „его призывом млечным”) (Цветаева 1934), с её повсеместным на дороге кустом – особенно рябиной – разлука с которыми, особенно для писателя, фатальна – если не в творческом смысле, то в экзистенциальном. И закончить мне хочется собственными стихами, которые, хотя формально и посвящены Иосифу Бродскому, на самом деле в равной мере применимы и к Довлатову, поскольку отражают внутреннюю ситуацию Художника-эмигранта вообще. Или возможно – просто внутреннюю ситуацию Художника; которую эмиграция доводит до логического конца:

Посвящается Бродскому

Дом – это башня, узкая: на просвет –
Оба окна, сжимающие этаж.
Видно, как на ладони. А дальше свет
Потусторонний. И это уже пейзаж.
Если снаружи руками – которых две –
Сжать с двух сторон эту комнату, что пуста,
Можно её потом приколоть к траве
Или вовсе сдвинуть за край листа.
Кажется, в ней не водится ни души.
На подоконнике только один предмет –
Бюст покорившего что-то в этой глуши
Или, скорее, ваза, но без примет.
Ну, а если тень мелькнёт от лица,
В нем должна быть очень надменна бровь,
Ибо скрывать отчаянье до конца
Может только охлажденная кровь;
Ибо чтоб быть заложенным в пустоту
Между окнами, как засушенный лист,
Нужно очень крепко сцепить во рту
Зубы. Так вцепляется хлыст
В жертву, чтоб потом отпустить,
И снова полёт, передышка, и снова нет
Воздуха...
Чтоб научиться жить,
Нужно стать одиноким – как дом, как свет
Тот законный, или как этот перст,
Как из коробки вынутый карандаш;
Нужно вписаться в одиночество мест,
То есть до срока вписанным быть в пейзаж

(Табачникова 2012: с. 82–83).

- Бродский, И. (1993). О Сереже Довлатове. Мир уродлив и люди грустны. In: Довлатов, С. *Собрание прозы в трех томах*. Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, т. 3, с. 355–362.
- Бродский, И. (2000). *Сочинения Иосифа Бродского*. Санкт-Петербург : Пушкинский Фонд, т. VI, 456 с.
- Бродский, И. (2013). Неизвестное интервью. *Colta.ru*, 23 октября. URL: <https://www.colta.ru/articles/literature/907-iosif-brodskiy-neizvestnoe-intervyu> (дата обращения: 9 сентября 2018).
- Галич, А. *О том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам*. URL: <http://www.bards.ru/archives/part.php?id=4075> (дата обращения: 1 сентября 2018).
- Генис, А. (2011). Сергей Довлатов. На полпути к родине. *Новая газета*, № 94, 25 августа. URL: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/08/25/45618-sergey-dovlatov-na-polputi-k-rodine> (дата обращения: 3 сентября 2018).
- Довлатов, С. (1983). Испытание свободой. *Журнал-газета Трибуна* (La Tribune), № 1, март, с. 14–19.
- Довлатов, С. (1991). Писатель в эмиграции. Интервью журналу „Слово”. *Слово – Word*, № 9. URL : <http://www.sergeidovlatov.com/books/slovo.html> (дата обращения: 20 августа 2018).
- Довлатов, С. (1993a). *Собрание прозы*. В трех томах. Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, т. 1, 416 с.
- Довлатов, С. (1993b). *Собрание прозы*. В трех томах. Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, т. 2. 384 с.
- Довлатов, С. (1999). *Малоизвестный Довлатов*. Сборник. Санкт-Петербург : АОЗТ „Журнал «Звезда»”, 512 с.
- Довлатов, С., Ефимов, И. (2001). *Сергей Довлатов. Эпистолярный роман с Игорем Ефимовым. Игорь Ефимов. Эпистолярный роман с Сергеем Довлатовым*. Москва : Захаров, 463 с.
- Довлатов – Владимовы (2001). Письма Сергея Довлатова к Владимовым. *Звезда*, № 9. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/9/pisma.html> (дата обращения: 1 сентября 2018).
- Долина, В. (1980). „Не пускайте поэта в Париж...”. URL: <http://www.bards.ru/archives/part.php?id=2758> (дата обращения: 26 августа 2018).

- Ерофеев, Вен. (1995). *Оставьте мою душу в покое. Почти все*. Москва : Изд-во АО „Х.Г.С.“, 408 с.
- Иванова, Н. (2001). *Сергей Довлатов–Игорь Ефимов. Эпистолярный роман*. Рецензия. *Знамя*, № 5. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2001/5/rec_iv.html (дата обращения: 27 августа 2018).
- Искандер, Ф. (2004). Палермо – Нью-Йорк. In: Искандер, Ф. *Собрание*. Москва : Время, с. 423–454. URL: <https://e-libra.ru/read/169941-chelovek-i-ego-okrestnosti.html> (дата обращения: 24 августа 2018).
- Конторер, Д. (2005). Враг у ворот. Юбилейные размышления. *Вести*, 28 апреля. URL: <http://old.ort.spb.ru/nesh/vesti/250428t.htm> (дата обращения: 27 августа 2018).
- Коржавин, Н. (1992). *Время дано. Стихи и поэмы*. Москва : Художественная литература, 319 с.
- Кушнер, А. (1998). Здесь, на земле... In: *Иосиф Бродский. Труды и дни*. Сост. Лев Лосев и Петр Вайль. Москва : Независимая Газета, С. 154–206.
- Манн, Т. (1945). *Почему я не вернусь на Родину*. URL: <http://maxpark.com/community/4109/content/5458699> (дата обращения: 23 августа 2018).
- Неизвестный, Э. (2007). *Интервью из документального фильма „Жизнь нелегка. Ваш Сергей Довлатов“*. Авторы: Алексей Шишов, Елена Якович. Ленинград; Нью-Йорк. URL: <https://rutube.ru/video/20a6d0c69341744b13520035a944f11f/> (дата обращения: 7 сентября 2018).
- Посохин, И. (2013а). К вопросу третьей волны эмиграции из СССР. Личность писателя-эмигранта в социокультурном аспекте. In: Lorková, Z., Knopcová, V. (eds.). *Zborník Mladá Rusistika – nové tendencie a trendy II*. Bratislava : Stimul, с. 120–129.
- Посохин, И. (2013b). *Пособие: Сергей Довлатов и „русский” Нью-Йорк*. Братислава : Стимул, 93 с.
- Табачникова, О. (2012). *Обстоятельства времени. Стихи*. Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 100 с.
- Федотов, Г. (1938). Письма о русской культуре. *Русские записки*, № 3, с. 239–260.
- Цветаева, М. (1934). *„Тоска по родине! Давно...”*. URL: [https://ru.wikisource.org/wiki/Тоска_по_родине!_Давно_\(Цветаева\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Тоска_по_родине!_Давно_(Цветаева)) (дата обращения: 19 августа 2018).

- Цветаева, М. (1997). *Собрание сочинений*. В 7 томах. Том 4. Книга 2. Дневниковая проза. Москва : Терра, Книжная лавка – РТР, 272 с.
- Шестов, Л. (1996). *Сочинения*. В 2 томах. Томск : Водолей, т. 2, 448 с.
- Allatson, P., McCormack, J. (eds.) (2008). *Exile Cultures, Misplaced Identities*. Amsterdam; New York : Rodopi B.V., 319 p.
<https://doi.org/10.1163/9789401205924>
- Meerzon, Y. (2015). To the Poetics of Neighbourhood in Sergei Dovlatov's Émigré Writings. *Toronto Slavic Quarterly*, vol. 54, December, pp. 60–85. URL: <http://sites.utoronto.ca/tsq/54/Meerzon.pdf> (дата обращения: 20 сентября 2018).

БЕЗКОМПРОМІСНИЙ КОМПРОМІС СЕРГІЯ ДОВЛАТОВА – ВІД „НАШИХ” ДО НЕНАШИХ

Ольга Марківна Табачнікова

orcid.org/0000-0003-2622-6713

tabachnikova@yahoo.com

Доктор філософії, доцент, завідувача кафедрою

Кафедра русистики

Факультет мов і глобальних досліджень

Університет Центрального Ланкашира

Вул. Аделфі, PR1 2HE, м. Престон, Англія

Анотація. Запропоновано розглянути Довлатова в ширшому контексті – відштовхуючись від окремого випадку Довлатова-емігранта, вийти до загальної картини радянського російськомовного письменника у вигнанні; намацати закономірності, притаманні світовідчуттю російського емігранта-митця третьої хвилі.

Важливий погляд на еміграцію не просто як на лімінальну ситуацію, ситуацію переходу, а отже, і перетину усіляких кордонів – зовнішніх і внутрішніх, але (багато в чому як наслідок), перш за все, як на ситуацію травматичну. Це стосується, насамперед, вигнання, тобто вимушеної втрати своєї рідної землі й середовища існування (бо еміграція добровільна, особливо в пострадянський період, це вже явище зовсім іншого порядку, це скоріше міграція, питання усвідомленого вибору, позбавлене тієї трагедії безповоротності, тієї, по суті, смертельної складової, яка була властива російським вигнанням радянського періоду).

У даному разі мова йде про екзистенціальну лабораторію, що випробовує, завперш, людську гідність, і про стан гострої екзистенціальної

самотності, який ця лабораторія багатократно підсилює. Тут можна говорити скоріше про саморуйнування, а не про порятунок. А про співчуття – тільки на особистому, на людському рівні, тільки до близьких людей, але не до емігрантської групи як такої.

І якщо розуміти компроміс як готовність бути пересадженим на чужий ґрунт, як перейняття чужих тем, критеріїв і мови або просто гру на, здавалося б, рідному мовному полі, але за чужими і, як з'ясувалося, підлими правилами, то в якомусь вищому духовному сенсі, переступивши від наших до ненаших, Довлатов виявився нездатним до компромісу – як не був він по суті здатний до нього і на Батьківщині. І писав найглибше і найпроникливіше на вістрі туги – на ностальгійному матеріалі, на матеріалі минулого.

Ключові слова: Довлатов, Америка, еміграція, третя хвиля, Росія – Захід, Батьківщина, вигнання, травма, література, компроміс, раціоналізм – ірраціоналізм.

UNCOMPROMISING COMPROMISE OF SERGEI DOVLATOV – FROM “OURS” TO NON-OURS

Olga Tabachnikova

orcid.org/0000-0003-2622-6713

tabachnikova@yahoo.com

Reader in Russian, Subject Leader for Russian Studies

School of Language and Global Studies

University of Central Lancashire

Adelphi Street, PR1 2HE, Preston, England

Abstract. This paper attempts to look at Dovlatov in a broad context – starting with a personal case of Dovlatov the emigrant, it aims to arrive at a more general portrait of a Soviet Russophone writer in exile and to uncover common features inherent in the outlook at life of a Russian émigré artist of the third wave of Russian emigration.

To this end, it appears important to consider emigration not only as a liminal situation, a situation of transition, i.e. of crossing all sorts of borders – external and internal, but also (by and large as a consequence of this border crossing) as a traumatic situation. This relates first of all to exile, that is, to a forced loss of one's own motherland and environment. Indeed, a voluntary emigration, especially in the post-Soviet period, is a phenomenon of a completely different order – it is, instead, a migration, a question of a conscious choice, without the tragedy of a no-return, i.e. without the fatal ingredient characteristic of the Russian exiles of the Soviet period.

In the case in question, however, we are dealing with an existential laboratory which tests above all human dignity, and with a state of acute existential

solitude which this laboratory considerably magnifies. In this case, it would be more appropriate to talk about self-destruction than salvation. As for compassion, it remains relevant, but only at a personal, human level, only towards one's close circle rather than an émigré environment as such.

In the light of the above, if we interpret compromise as one's readiness to be transplanted onto a foreign soil, as a borrowing of alien themes, criteria and language, or simply as a game on the seemingly native linguistic field, but according to non-native (and, as it happens, unfair) rules, then in a higher spiritual sense Dovlatov, having crossed the border from ours to non-ours, turned out to be incapable of compromise – just as he was incapable of it while in Russia. Indeed, he wrote his most profound and most piercing lines at the edge of anguish and longing – on the nostalgic material, that of the past.

Keywords: Dovlatov, America, emigration, third wave, Russia versus the West, motherland, exile, trauma, literature, compromise, rationalism – irrationalism.

References

- Brodsky, I. (1993). O Serezhe Dovlatove. Mir urodliv i liudi grustny [On Serezha Dovlatov. The world is ugly and people are sad]. In: Dovlatov S. *Sobranie prozy v trekh tomakh* [Collection of prose in three volumes]. Saint Petersburg : Limbus Press, vol. 3, pp. 355–362. (in Russian).
- Brodsky, I. (2000). *Sochineniya Iosifa Brodskogo* [Works of Iosif Brodsky]. Saint Petersburg, vol. VI, 456 p. (in Russian).
- Brodsky, I. (2013). *Neizvestnoe intervyyu* [The Unknown interview]. *Colta.ru*, 23 October. URL: <https://www.colta.ru/articles/literature/907-iosif-brodskiy-neizvestnoe-intervyyu> (accessed: 09 September 2018). (in Russian).
- Galich, A. *O tom, kak Klim Petrovich vosstal protiv ekonomicheskoy pomoshchi slaborazvitym stranam* [How Klim Petrovich rebelled against economic aid to underdeveloped countries]. URL: <http://www.bards.ru/archives/part.php?id=4075> (accessed: 1 September 2018). (in Russian).
- Genis, A. (2011). Sergei Dovlatov. Na polputi k rodine [Sergei Dovlatov. Halfway to the Motherland]. *Novaia gazeta*, no. 94, 25 August. URL: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/08/25/45618-sergey-dovlatov-na-polputi-k-rodine> (accessed: 3 September 2018). (in Russian).
- Dovlatov, S. (1983). Ispytanie svobodoy [Test by freedom]. *The journal-newspaper Tribuna* (La Tribune), no. 1, March, pp. 14–19. (in Russian).
- Dovlatov, S. (1991). Pisatel v emigratsii. Intervyyu zhurnalu “Slovo” [A writer in emigration. Interview to the journal ‘Slovo’]. *Slovo – Word*, no. 9. URL:

- <http://www.sergeidovlatov.com/books/slovo.html> (accessed: 20 August 2018). (in Russian).
- Dovlatov, S. (1993a). *Sobranie prozy. V tryokh tomakh* [A collection of prose works in three volumes]. Saint Petersburg : Limbus Press, vol. 1, 416 p. (in Russian).
- Dovlatov, S. (1993b). *Sobranie prozy. V tryokh tomakh* [A collection of prose works in three volumes]. Saint Petersburg : Limbus Press, vol. 2, 384 p. (in Russian).
- Dovlatov, S. (1999). *Maloizvestny Dovlatov. Sbornik* [Little-known Dovlatov. A collection]. Saint Petersburg : AOZT “Zhurnal «Zvezda»”, 512 p. (in Russian).
- Dovlatov, S., Yefimov, I. (2001). *Sergei Dovlatov. Epistolyarnyi roman s Igorem Yefimovym. Igor Yefimov. Epistolyarnyi roman s Sergeem Dovlatovym* [Sergei Dovlatov. Epistolary novel with Igor Yefimov. Igor Yefimov. Epistolary novel with Sergei Dovlatov]. Moscow : Zakharov, 463 p. (in Russian).
- Dovlatov – Vladimovy (2001). *Pisma Sergeya Dovlatova k Vladimovym* [Sergei Dovlatov’s letters to the Vladimovs]. *Zvezda*, no. 9. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/9/pisma.html> (accessed: 1 September 2018). (in Russian).
- Dolina, V. (1980). “*Ne puskayte poeta v Parizh...*” [“Do not let a poet out to Paris...”]. URL: <http://www.bards.ru/archives/part.php?id=2758> (accessed: 26 August 2018). (in Russian).
- Yerofeev, Ven. (1995). *Ostavte moyu dushu v pokoe. Pochti vse* [Leave my soul in peace. Almost everything]. Moscow : Izd-vo AO “Kh.G.S.”, 408 p. (in Russian).
- Ivanova, N. (2001). Sergei Dovlatov–Igor Yefimov. Epistolyarnyi roman. Retsenziya [Sergei Dovlatov – Igor Efimov. Epistolary novel. A review]. *Znamia*, no. 5. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2001/5/rec_iv.html (accessed: 27 August 2018). (in Russian).
- Iskander, F. (2004). Palermo – New-York [Palermo – New-York]. In: Iskander, F. *Sobranie*. Moscow : Vremia, pp. 423–454. URL: <https://e-libra.ru/read/169941-chelovek-i-ego-okrestnosti.html> (accessed: 24 August 2018). (in Russian).
- Kontorer, D. (2005). Vrag u vorot. Yubileynye razmyshleniya [Enemy at the door. Jubilee ponderings]. *Vesti*, 28 April. URL: <http://old.ort.spb.ru/nesh/vesti/250428t.htm> (accessed: 27 August 2018). (in Russian).

- Korzhavin, N. (1992). *Vremya dano. Stikhi i poemy* [The time is given. Poems]. Moscow : Khudozhestvennaia literatura, 319 p. (in Russian).
- Kushner, A. (1998). Zdes, na zemle... [Here, on Earth...]. In: *Iosif Brodsky. Trudy i dni* [Iosif Brodsky. Works and Days]. Moscow : Nezavisimaia Gazeta, pp. 154–206. (in Russian).
- Mann, T. (1945). *Pochemu ya ne vernus na Rodinu* [Why I shall not return to my Motherland]. URL: <http://maxpark.com/community/4109/content/5458699> (accessed: 23 August 2018). (in Russian).
- Neizvestnyi, E. (2007). *Intervyu iz dokumentalnogo filma “Zhizn nelegka. Vash Sergei Dovlatov”*. Avtory Aleksei Shishov i Yelena Yakovich [Interview from the Documentary “Life isn’t easy. Yours, Sergei Dovlatov” by Aleksei Shishov and Yelena Yakovich]. Leningrad; New-York, 2007. URL: <https://rutube.ru/video/20a6d0c69341744b13520035a944f11f/> (accessed: 07 September 2018). (in Russian).
- Posokhin, I. (2013a). K voprosu tretyei volny emigratsii iz SSSR. Lichnost pisatelya-emigranta v sotsiokulturnom aspekte [To the question of the third wave of emigration from the USSR. A personality of an émigré writer in a socio-cultural aspect]. In: Lorková, Z., Knopcová, V. (eds.). *Zborník Mladá Rusistika – nové tendencie a trendy II* [Collection Latest Russian Studies – new tendencies and trends]. Bratislava : Stimul, pp. 120–129. (in Russian).
- Posokhin, I. (2013b). *Posobie: Sergei Dovlatov i “russkiy” New-York* [Textbook: Sergei Dovlatov and ‘Russian’ New-York]. Bratislava : Stimul, 93 p. (in Russian).
- Tabachnikova, O. (2012). *Obstoyatelstva vremeni. Stikhi* [Circumstances of time. Poems]. Saint Petersburg : Gelikon Plus, 100 p. (in Russian).
- Fedotov, G. (1938). Pisma o russkoi culture [Letters on Russian culture]. *Russkie zapiski*, no. 3, pp. 239–260. (in Russian).
- Tsvetaeva, M. (1934). “*Toska po rodine! Davno...*” [‘Nostalgia! Long ago...’], URL: [https://ru.wikisource.org/wiki/Тоска_по_родине!_Давно_\(Цветаева\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Тоска_по_родине!_Давно_(Цветаева)) (accessed: 19 August 2018). (in Russian).
- Tsvetaeva, M. (1997). *Sobranie sochineniy. V 7 tomakh* [Collection of works in seven volumes]. Vol. 4, book 2. Dnevnikovaya proza [Diaries]. Moscow : Terra, Knizhnaia lavka – RTR, 272 p. (in Russian).
- Shestov, L. (1996). *Sochineniya. V 2 tomakh* [Works in two volumes]. Tomsk : Vodolei, vol. 2, 448 p. (in Russian).

Allatson, P., McCormack, J. (eds.) (2008). *Exile Cultures, Misplaced Identities*. Amsterdam; New York : Rodopi B.V., 319 p.
<https://doi.org/10.1163/9789401205924>

Meerzon, Y. (2015). To the Poetics of Neighbourhood in Sergei Dovlatov's Émigré Writings. *Toronto Slavic Quarterly*, vol. 54, December, pp. 60–85. URL: <http://sites.utoronto.ca/tsq/54/Meerzon.pdf> (accessed: 20 September 2018).

Suggested citation

Tabachnikova, O. (2019). Beskompromissnyi kompromiss Sergeia Dovlatova – ot “nashikh” k nenashim [Uncompromising Compromise of Sergei Dovlatov – from “Ours” to Non-Ours]. *Pitannâ literaturoznavstva*, no. 100, pp. 89–113. (in Russian). <https://doi.org/10.31861/pytlit2019.100.089>

Стаття надійшла до редакції 19.09.2019 р.

Стаття прийнята до друку 20.10.2019 р.